

Виктор Курочкин

Урод



Часть сборника
На войне как на войне (сборник)

Виктор Александрович Курочкин

Урод

*Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=162341
Курочкин В. А. На войне как на войне: Эксмо; Москва; 2012
ISBN 978-5-699-56033-2*

Аннотация

«...Отношение племянника к дядюшке было переменное: он любил его и не любил, порой относился с почтением, порой презирал, иногда искренне жалел и так же искренне ненавидел – все зависело от настроения. Иван Алексеевич был современный человек: враг частной собственности и мещанства. А Степан Степаныч в Фуражках считался предводителем всех стяжателей и мещан. Однако, будучи нахлебником дядюшки, Иван Алексеевич открыто и решительно выступать против него боялся. Тем и объясняются столь неустойчивые отношения между племянником и Степаном Степанычем. Всех же остальных обывателей Фуражек Иван Алексеевич и за людей не считал, что, по его мнению, было выше презрения...»

Виктор Курочкин

Урод

Когда-то Фуражки были деревней, довольно-таки грязной и захудалой. Между городом и Фуражками лежала топкая низина, ровная, гладкая, без единого кустика. Весной она вовсю цвела и чавкала; жарким летом высыхала, становилась сивой и колючей, как стерня, а осенью опять зеленела и чавкала.

Итак, на одном конце низины прилепились Фуражки, на другом начинался город, сплошная стена домов, плоские крыши, над ними желтые купола, множество фабричных и заводских труб. В пасмурную погоду дым и облака сливались вместе, город тускнел и сжимался, словно ему было холодно. В погожий, ясный день он, развалясь на огромной равнине, казалось, нежился, лениво покуривая из своих темных длинных труб в белесое, как выпцветший ситец, небо. Ночью город вырастал до невероятных размеров. Со всех сторон к нему тянулись бледные цепочки огней, ближе к центру они теряли стройность – рвались, путались, лезли вверх, нагромождаясь друг на друга. И город превращался в гигантскую холодную гору огней, над которой до утра стояло мутное зарево.

Потом по низине рядом с деревней проложили железную дорогу. Дома обитателей Фуражек уткнулись в высокую песчаную насыпь, за которой были видны теперь только трубы, тонкие и ровные, как вязальные спицы. Город за насыпью продолжал расти и вширь и ввысь. А Фуражки как были, так и остались грязной, захудалой деревушкой.

Окраиной города Фуражки стали после того, как здесь построили кирпичный завод, дощатые бараки, баню, а при ней ларек «Пиво-воды». И старые Фуражки с темными, замшелыми крышами закачались, запыхтели, как на дрожжах, а вскоре развалились.

Новые Фуражки заложил Степан Степаныч Отелков – буфетчик ларька «Пиво-воды». На месте крошечного, как улей, домика он поставил кирпичный двухкомнатный особняк на каменном фундаменте. Усадьбу засадил яблонями с вишней, крыжовником, малиной и забрал со всех сторон кирпичной стеной. Снаружи перед окнами воткнул в землю три свежих палки тополя. Палки прижились, пустили корни, прижились и яблони с крыжовником, прижился и глубоко пустил корни здесь сам Степан Степаныч. Хоть и говорили, что дом Отелкова стоит на пивной пене, однако дом стоял твердо и, как хозяин, угрюмо молчал и темнел с каждым годом.

От Отелкова вправо и влево стали один за другим появляться дома с черепичными крышами и кудрявыми тополями под окнами. Появились закоулки, переулки, вытягивались улицы. И самую длинную из них называли проспектом.

Прошло всего десять-пятнадцать лет, и не узнать Фуражек – так они изменились. Низина осушена, и на ее месте – парк; карьеры, в которых брали глину, превратились в живописные пруды. Пенсионеры с утра до вечера удят здесь карасей, зимой ловят мотыля и бойко торгуют им у зоомагазинов.

Степан Степаныч Отелков умер, не дожив всего трех дней до последней денежной реформы. А дом стоит. Правда, выглядит он теперь старше и беднее своих соседей. Черепичная крыша в дырах, штукатурка почернела, а по карнизу совсем обвалилась. Сад густо зарос лебедой, крапивой, репейником, колючим чертополохом. Яблони только цветут, но не плодоносят, одичали и крыжовник с малиной. Дверцы калитки не открываются и не закрываются, а дорожка от нее до крыльца напоминает тропу в джунглях.

Ставни на окнах грязно-голубого цвета. Раз в сутки, а иногда и два раза, преимущественно вечером, железные засовы с ржавым звоном вываливаются из пазов и ставни с грохотом распахиваются. Потом они опять со звоном и грохотом закрываются, как будто хозяин дома веселому солнечному свету предпочел скромные, уютные сумерки. На крыльце с пери-

лами весь день, свернувшись, лежит покалеченный рыжий боксер. Можно спокойно войти в сад, полазить по кустам – боксер не залает и даже не пошевелится. Он слишком занят своими думами, чтобы обращать внимание на пустяки. От долгих дум, вероятно не очень веселых, морда у боксера сморщилась, как у дряхлого старика.

Иван Алексеевич после смерти дяди, Степана Степаныча Отелкова, стал по праву единственным и законным владельцем этого дома. Тот еще при жизни отписал свой дом племяннику. Степан Степаныч любил Ивана Алексеевича не за близкое родство, и не за мягкий характер, и, конечно, не за красивые глаза. Дядя ценил в племяннике, как он сам выражался, «интеллект». Степан Степаныч никогда не упускал случая похвастаться племянником. Подняв вверх палец, он произносил не без гордости: «Иван Алексеич Отелков – наивысший интеллект! – и добавлял как бы между прочим и небрежно: – Он киноартист!» К наивысшим «интеллектам» Степан Степаныч относил артистов, писателей и адвокатов; к средним – директоров, председателей и еще кое-каких начальников; к низшим – инженеров, учителей, бухгалтеров и всяких ревизоров.

Отношение племянника к дядюшке было переменное: он любил его и не любил, порой относился с почтением, порой презирал, иногда искренне жалел и так же искренне ненавидел – все зависело от настроения. Иван Алексеевич был современный человек: враг частной собственности и мещанства. А Степан Степаныч в Фуражках считался предводителем всех стяжателей и мещан. Однако, будучи нахлебником дядюшки, Иван Алексеевич открыто и решительно выступать против него боялся. Тем и объясняются столь неустойчивые отношения между племянником и Степаном Степанычем. Всех же остальных обывателей Фуражек Иван Алексеевич и за людей не считал, что, по его мнению, было выше презрения.

Обыватели относились к Ивану Алексеевичу с почтением, хотя и говорили, что артист Отелков в кино «изображает толпу».

Иван Алексеевич проснулся ровно в десять. Рано вставать Отелков считал дурной привычкой, а сегодня тем более. Дома он все равно не завтракал, нынче и завтракать было не на что. Вчера он ужинал в ресторане; правда, угощал приятель, артист Васенька Шляпоберский, а вот добираться до дому пришлось на свой последний рубль. Вспомнив об этом, Отелков сморщился, замотал головой.

Ничто так не возмущало Ивана Алексеевича, как безденежье. Деньги для него были одновременно и счастьем, и злом. Не потому, что он был жаден до них, наоборот, скорее он был слишком щедр; просто у Отелкова их почему-то всегда не хватало, хотя зарабатывал он если не больше, то по крайней мере не меньше Васеньки Шляпоберского, на аванс которого вчера пили коньяк с шампанским, тройной кофе с лимоном и угощали ананасами каких-то неизвестных дам.

В последний раз Иван Алексеевич неплохо заработал на дубляже заграничных картин. На эти деньги он собирался подремонтировать дом, «сделать» новое пальто и до отвала накормить боксера. Но деньги так быстро и бесследно исчезли, словно Иван Алексеевич положил их в дырявый карман.

– Фу-ты, черт возьми, какая непростительная глупость! – Он не договорил, в чем заключалась эта глупость, и, сжав голову руками, простонал: – Ужасно!

В углу на войлочной подстилке зашевелился вислоухий боксер и, подняв унылую морду, посмотрел на Отелкова. Иван Алексеевич продолжал стонать и охать. Боксер, волоча задние ноги, приковылял к хозяину и положил на кровать лапу.

Иван Алексеевич подергал собаку за ухо и равнодушно спросил:

– Жрать хочешь, Урод? А у меня ничего нету. Ни копейки.

Боксер благодарно облизал руку Отелкова. Иван Алексеевич, машинально поглаживая голову боксера, стал размышлять о жизни, о неудачах, о деньгах.

– Да, скучища без денег! Ужасно страшная скучища. И почему это их нам никогда не хватает, Урод?

Урод, склонив голову, смотрел на Отелкова, и его печальные, с лиловой пленкой глаза, казалось, выражали немой укор.

Ивану Алексеевичу вскоре надоело философствовать. Он сказал собаке: «Пошел прочь, на место» – и, повернувшись на спину, бессмысленно уставился в потолок, грязно-серый, с черной, как борозда, трещиной. Пес отправился в свой угол.

Урод во всем оправдывал свою кличку. Задние лапы у него были так вывернуты, что походили на ласты. Когда Урод двигался, они громко шлепали.

Ставни не открывались со вчерашнего вечера, но вся комната была забрызгана солнцем – его лучи проникали в бесчисленные дыры и щели ставен.

Иван Алексеевич перевел глаза с потолка на стены. По обоям цвета болотной травы струились кривые ржавые ручьи; в трех местах обои вздулись подушкой, а над книжной полкой свисали лохмотьями.

– Фу, гадость, до чего я докатился, – простонал Иван Алексеевич, перевернулся на живот и уткнулся носом в подушку.

Отелкова грызла совесть, она всегда безжалостно мучила его по утрам. «Вот он, человек неглупый, образованный, с положением в обществе, а живет хуже, чем... и не придумаешь никакого сравнения», – думал о себе Отелков в третьем лице.

Робко, как будто случайно кем-то задетый, протинькал в сенях звонок. Иван Алексеевич не обратил на него внимания и с головой закутался в одеяло. Звонок продребезжал громче, Отелков не пошевелился.

Урод затряс ушами и беспокойно завертел головой. Звонок не переставая дребезжал и звякал. Урод совсем растерялся, он подполз к кровати, схватил зубами одеяло и потащил его с Отелкова.

Иван Алексеевич спустил ноги на пол, зевнул, поскреб волосатую грудь. Звонок теперь звонил протяжно и неприятно, как будильник.

– Видно, не отвяжется, – сказал Отелков, сунул ноги в шлепанцы, завернулся в халат, пошел открывать дверь и сразу же вернулся, сбросил халат и тяжело, как мешок с отрубями, свалился на кровать.

Приоткрылась дверь, и робко, бочком протиснулась женщина с кошелкой в руках. Оттого ли, что в комнате было сумрачно, или от чувства неловкости женщина долго стояла у порога, переступая с ноги на ногу. Отелков не шевелился, одним глазом наблюдая за ней, думал: «Уйдет или не уйдет?» Женщина, видимо, решила остаться. Поставила кошелку на пол и, не спуская глаз с Ивана Алексеевича, сняла плащ.

– Я ненадолго. Посижу и уйду, – сказала она и, помолчав, добавила: – Шла с рынка, мимо. Думаю: зайти или не зайти? Вот и зашла. А ты как будто и не рад? – говорила женщина, усаживаясь на стул и расправляя на коленях платье.

Отелков сделал вид, что хочет встать.

– Лежи, лежи, я ненадолго. Посижу и уйду, – торопливо проговорила женщина и виновато улыбнулась.

Иван Алексеевич облегченно вздохнул и так потянулся, что затрещала кровать.

Урод давно уже вылез из своего угла и, нетерпеливо перебирая лапами, не отрываясь смотрел на женщину. В глазах его было все: и преданность, и любовь, и надежда. Но женщина не замечала Урода, она смотрела на Ивана Алексеевича, и в глазах ее было то же, что и у собаки. Терпение Урода в конце концов лопнуло, и он вежливо подергал зубами подол платья. Женщина испуганно вздрогнула, но, увидев собаку, радостно всплеснула руками.

– Милый ты мой, Уродушка! Как же это я тебя забыла? – Женщина вскочила, покопалась в кошелке, вытащила газетный сверток и показала Уроду. Дрожа от нетерпения, боксер взвизгнул.

– Что это? – спросил Отелков.

– Кости...

– Отнеси на улицу. Пусть там жрет.

Женщина, спровадив Урода глотать кости, стала прибирать комнату. Ее крепкая фигура двигалась по комнате гибко и бесшумно.

И когда она, подметая пол, приблизилась к Ивану Алексеевичу, он тяжело опустил ей на затылок руку. Женщина присела и широко открытыми, счастливыми глазами посмотрела на Ивана Алексеевича.

– Пришла?.. Молодец, что пришла. – Иван Алексеевич ласкал ее волосы, гладко зачесанные и собранные на затылке в узел. Нащупав шпильку, он ее вытащил, и волосы рассыпались по спине. Женщина, закрыв глаза, запрокинула голову. Рот у нее приоткрылся, обнажив плотную белую полоску зубов. Иван Алексеевич обнял женщину, стиснул, поцеловал в лоб, потом в открытые губы. Женщина, охнув, встала на колени и прошептала:

– Зачем же вдруг... сразу так?.. Дай хоть пол подмести.

Глаза у нее искрились от радости, она что-то торопливо, бессвязно говорила, но Отелков ее не слушал, он гладил ее и чувствовал, что его руки вместе с теплом тела ощущают какое-то другое тепло, от которого дрожит каждая жилка и кружится голова...

Потом Иван Алексеевич лежа курил и равнодушно наблюдал за ползущим по стене клопом.

Когда ему это наскучило, он скосил глаза на женщину, на ее голые плечи, на разбросанные по подушке волосы.

«Странно, как их у нее много, – подумал, – и как это она ухитряется их так гладко причесывать. Вероятно, волосы очень тонкие».

Голова у женщины была запрокинута, глаза закрыты, лицо маленькое, бледное, измученное, а губы сморщились, как увядший лепесток фуксии. Отелкову стало обидно за свое мужское достоинство: почему ему, здоровому, видному мужчине, приходится лежать с этой уже немолодой да и не слишком красивой бабой?

«Пора бы ей и честь знать», – подумал он и толкнул женщину локтем. Она не ответила. Но по тому, как вздрогнули губы и шевельнулись ресницы, Иван Алексеевич понял, что она не спит. Отелков неуклюже повернулся к ней спиной.

Он задремал, а когда очнулся, женщина одевалась.

«А что, если у нее попросить хотя бы рублей пять?» Мысль пришла внезапно, и Отелков попытался за нее ухватиться. Женщина припудрилась, слегка подкрасилась, сняла с вешалки плащ.

«Вот сейчас она уйдет, и уйдут пять рублей», – подумал Отелков, но попросить не хватило смелости.

Взяв сумку, она открыла дверь, на секунду остановилась и посмотрела на Отелкова.

«Вот сейчас подойдет, поцелует в лоб, и я у нее спрошу».

Но она не подошла и, тихо закрыв дверь, исчезла.

– Ушла... и даже пол не домела. – Иван Алексеевич выругался. – Все. Больше я ее на порог не пушу.

Подобные решения Отелков принимал часто, но еще чаще от них отказывался. Он и сам не мог понять, каким магнитом машинистка Серафима Анисимовна Недощекина его притягивала. Он ее не любил, да и особой страсти к ней не чувствовал. Но она была какая-то особенная. Одним словом, как ее определил Иван Алексеевич, уютная. А уют-то как раз ему и доставало. Однажды Серафима Анисимовна сказала Отелкову:

– Я одинокая, а ты одиночше меня. Ты такой одинокий, хуже, чем крот. Мне и тебя, и себя жалко. Потому я и хожу к тебе.

Крепко сжав ладонями виски, Отелков стал думать, где бы раздобыть хоть рубля три. Думал долго и не заметил, как уснул.

Когда Иван Алексеевич проснулся, в доме было совсем темно. Он понял, что солнце сместилось и теперь светит не в ставни, а в глухую стену. Отелков встал, завернулся в халат, вытолкнул железный стержень засова, и ставни с грохотом распахнулись. Он открыл окно, лениво опустил на стул и стал смотреть на улицу.

Стоял безоблачный душный июльский полдень. Из сада в комнату, как из раскаленной печки, втягивался плотный, горячий воздух. Иван Алексеевич отодвинул стул, закурил, облокотился на подоконник.

Все изнывало от жары. Тополя, бессильно опустив ветви, бросали на землю жидкие, короткие тени. Густой малинник вдоль забора вывернулся наизнанку, поседел и не шелохнется. Опустив хвосты, уныло бродили соседские куры. Под кустом крыжовника, положив на лапы голову, парился Урод. Мокрый язык вывалился из пасти и трепыхался, как тряпка. За забором, словно подмасленная сковорода, блестела асфальтовая дорога. Взгляд Отелкова уперся в железнодорожную насыпь с желтыми плешинами песка и мелкой ржавой травой.

Ничто так не раздражало Отелкова, как эта насыпь. Вот уже тринадцать лет она торчит перед его глазами и до того обрыдла, что даже в самые отрадные минуты жизни Иван Алексеевич старается не открывать ставни, чтобы не испортить себе настроения. Но и это мало помогает. Когда по ней с чугунным грохотом ползет тяжеловесный состав, дом трясется и звякает, как телега с кухонной посудой.

Настроение у Отелкова было хуже, чем отвратительное. Давило не только безденежье, но и отсутствие каких-либо перспектив. Роль, на которую он рассчитывал, отдали другому, по мнению Ивана Алексеевича, совершенно бездарному артисту. Режиссер-постановщик, злой, желчный, весь утыканный остротами, как еж иглами, насмешливо сказал ему:

– Вы, Отелков, умеете играть только себя. А такой роли у меня в фильме нет. Подождите, напишут, тогда и поработаем.

– «Играете только себя», – медленно, по складам повторил Отелков и горько усмехнулся. – Разве только я один? А эта дутая знаменитость Сомов – штатный исполнитель бюрократов? Антон Кондаков, положительный герой, первый любовник, заштампованный, как больничный лист... Сыграл двадцать лет назад композитора, так с тех пор и валяет всех на одну колодку: и офицера, и инженера, и тракториста, и футболиста. А психопатки от него без ума: «Вы смотрели новый фильм? Там Кондаков. Прелесть, сплошное обаяние».

Иван Алексеевич выругался и выплюнул окурок под окно.

– Ивану Ляксеичу – мое почтение! – продребезжал у забора старческий голосок.

Отелков поднял глаза, прищурился. Над забором, как одуванчик, качалась седая головка Штукина по прозвищу Яй-бога.

– Степан Емельяныч, здравствуй, – стараясь быть ласковым, приветствовал его Отелков.

– Иду, мотрю, яй-бога, сидит наш Иван Ляксеич, отдыхает, природой наслаждается, так сказать, во-о-от, – протянул Степан Емельяныч и, сжав в кулаке бороденку, хихикнул.

Отелков хотел грустно улыбнуться, но вместо улыбки лицо брезгливо сморщилось: «Сейчас начнет расхваливать». Не успел Иван Алексеевич и подумать об этом, как старик заговорил торопливо, взхлеб:

– Мотрю вчера телевизор, а вы там, Иван Ляксеич, роль разыгрываете, яй-бога, хорошо. Кричу: «Баба, мотри, Иван Ляксеич роль разыгрывает». Правда, маловато, а хорошо, яй-бога, хорошо, аж слезу жмет! Горжусь тобой, виноват, вами, Иван Ляксеич, яй-бога, горжусь

и всем говорю: «Иван Ляксеич – мой старый знакомый. Мы с ним эва с какого времени знаемся».

Отелков с трудом сдержал себя, чтобы не закричать: «Пшел прочь, старый идиот!» Степан Емельяныч, сам того не желая, нанес Отелкову удар, как говорят, в запрещенное место. Ничего не было оскорбительней для Отелкова, чем роль, которую так расхваливал Штукин. Для артиста это предел падения. Исполнять в театре шаги за сценой в сто раз почетнее, нежели роль, на которую согласился Иван Алексеевич. В короткометражке о мухах, отхожих местах и помойках он изображал санитарного начальника в белом халате, вся роль которого сводилась к тому, чтобы снять трубку телефона, набрать номер и сказать: «Алло».

Степан Емельяныч, не ведая, что творится в душе Отелкова, продолжал всю восхищаться талантами Ивана Алексеевича.

– А еще вы играли этого... как его... в шляпе с бородой... Ну и хорошо же, яй-бога, смотришь не насмотришься. Важный такой, и походка, и голос. Мотрю и говорю своей бабе: «Яй-бога, как есть вылятый наш Иван Ляксеич».

Отелков поморщился.

– Полно вам, Степан Емельяныч, хватит.

Какое там хватит! Штукин только разошелся.

– Уж очень вы важно, Иван Ляксеич, в кино представляетесь. Яй-бога, как министр. А где вы нонче-то играете?

– Пока снимаюсь. А как выйдет картина, сам лично приглашу. Билет бесплатный дам.

– Неужто со мной пойдешь? – И Степан Емельяныч чуть не задохнулся от радости.

Отелков, чтоб отвязаться от старика, солидно заверил, что обязательно пойдет с ним в кино.

Но и эта уловка ни к чему не привела. Степан Емельяныч зачастил и посыпал, как глухарь:

– А уж я-то, Иван Ляксеич, так вас люблю, так уважаю... Яй-бога, смотришь кино и радуешься.

К счастью, болтовню старика заглушил пронзительный женский голос:

– Ты чего это там стоишь-то? Куда я тебя послала-то? Опять словоблудишь-то?

Степан Емельяныч дернулся, как на шарнирах, и, сгорбясь, трусцой побежал вдоль забора.

Несмотря на то что Штукин был несносный говорун и к тому же враль бесподобный, Иван Алексеевич относился к нему милостиво и даже снисходил до того, что здоровался за руку. Старик же бескорыстно был ему предан и, как только мог, славил в Фуражках Отелкова. Нравилось ли это Ивану Алексеевичу или не нравилось, по крайней мере он не препятствовал.

Штукин не врал только в одном – что давно знается с Отелковым. Иван Алексеевич познакомился с ним, когда Штукин еще работал в бане кочегаром, а сам он учился в театральном институте.

Как-то Степан Степаныч Отелков совершенно некстати заболел, да так, что не смог встать с дивана, чтобы пойти в баню, в свой ларек. А идти позарез надо было. Там стояли две полные бочки пива. Погода была жаркая, и пиво грозило загулять и скиснуть. Иван Алексеевич не мог отказать дядюшке в просьбе – помочь ему распродать пиво.

– Когда тебе, Ванюшка, понадобится заряжать бочку, покличь кочегара Степку Штукина – Яй-богу. Он у ларька все время околачивается. Такой юркий, тощий и грязный, как навозный жук. За кружку пива он все, что хошь, сделает, – наставлял Степан Степаныч племянника.

Когда Иван Алексеевич подходил к ларьку, там уже стояла толпа мужиков. Среди них он узнал и Штукина. Тот что-то кому-то доказывал. Все у него при этом болталось и двигалось, словно голова его, руки и ноги были пришиты к туловищу кое-как, на живую нитку.

Иван Алексеевич открыл ларек, и Штукин суетливо начал обшаривать свои карманы, высыпал в руку Ивана Алексеевича несколько медяков и виновато забормотал:

– Маленькую. Извините, там не хвата... Занесу... яй-бога, занесу. Спроси у кого хошь, занесу. Твой дядюшка меня хорошо знает, яй-бога, меня тут все знают... Штукин я, кочегар...

Иван Алексеевич вместо маленькой налил ему большую. Впрочем, молодой буфетчик не скупился: кружки наполнял до краев, охотно верил в долг и даже сам навязывал: «Чего там маленькую! Дуй большую. Деньги после занесешь».

Небывалая щедрость продавца вдохновила фуражкинских пиволюбов. Хвост очереди со двора бани вывалился на улицу. Кочегар Штукин побежал в третий раз занимать очередь и вдруг остановился.

«Степан, а ведь это непорядок, – подумал он. – Раньше ты один мог задарма выпить кружку пива. А теперь все, кто хочет. Непорядок, Степан, яй-бога, непорядок! Тебя ни за что ни про что со всеми сравнивали».

Штукин сначала растерялся, потом расстроился, наконец возмутился и со всех ног бросился к Степану Отелкову.

Тот спокойно выслушал рассказ Штукина о художествах племянника и, вместо того чтобы отблагодарить его за столь важное сообщение, сказал довольно-таки оскорбительно:

– Колун ты, Яй-бога, тупой колун. Ведь он же готовит себя в артисты. А какой же это артист, если будет трястись над кружкой пива? У артиста должна быть душа широкая, с размахом. – Отелков перекрестился и, вытирая слезы, пробормотал: – Теперь я спокоен за племяша. Правильную дорогу выбрал. Артист из него получится что надо.

Штукин обалдело смотрел на Отелкова. Но восхищение перед широкой душой артиста невольно передалось и ему. С тех пор старик самозабвенно влюбился в Ивана Алексеевича.

Иван Алексеевич не любил копаться в прошлом: прошлое его было значительно лучше настоящего, а в будущее он и заглянуть страшился. Но думы о прошлом сами налетали как осенние мухи, больно кусали, и было очень тоскливо.

Жара все больше сгущалась, давила ленью, сонной истомой. Над насыпью винтом крутился серый столб пыли. Иван Алексеевич стал наблюдать за ним. Столб, покружившись на одном месте, вдруг резко прыгнул влево, стремительно побежал по обочине насыпи, потом вильнул под откос и рассыпался.

«Вот так и я, – подумал Иван Алексеевич, – покручусь, попрыгаю туда-сюда и рассыплюсь, как эта пыль. И никто обо мне не вспомнит, что был артист Иван Отелков. Он многого хотел и ничего не получил. Но ведь для чего-то я родился, для чего-то люди рождаются! – заговорил он про себя чужими, еще в институте заученными фразами. – Уф, какая жарыща, и в голову лезет черт знает что... А без трех рублей не обойтись. Где их достать?»

Отелков уставился поверх насыпи на подъемный кран, который плавно и легко нес по воздуху крохотную, похожую на вафлю плитку. Плитка опустилась на серую, с бесчисленными дырами коробку.

Рядом тоже строился такой же дом, и над ним подъемный кран вытягивал темную тонкую шею. Ближе к насыпи закладывали фундамент сразу под три дома. А у самой насыпи рыли котлован. Отелков не видел, как рыли, он догадался, что рыли, по тому, как под насыпью то поднимались, то опускались блестящие челюсти экскаватора.

С левой стороны перпендикулярно насыпи тянулись ровные шеренги домов, сливаясь с городом. И все блестело на солнце, резало глаза.

Иван Алексеевич рассеянно смотрел на это, а в голове неуклюже, как камни, перекачивались неприятные мысли: «Давно ли здесь, в низине, скрипели кулики. А теперь вот

город. Новый, незнакомый город. Когда он успел появиться? Вчера как будто его и не было. А сегодня стоит. Что со мной происходит? Я ничего не вижу, не слышу даже, что под боком творится. Неужели старею? Но ведь мне не так уж и много. Всего лишь сорок три. Сорок три, сорок три, – несколько раз повторил Отелков и покачал головой. – Сорок три – тоже срок немалый. В эти годы порядочный человек все имеет: и семью, и достаток... А у меня что? Ничего. Даже друга нет, которому бы я мог поплакаться в жилетку или, не стыдясь, занять у него три рубля».

Мимо дома чинно просеменила модница. Она была так плотно втиснута в ярко-желтую тафту, что все формы ее обозначались соблазнительно и крикливо.

«Вот бы у нее занять три рубля». В ту же секунду модная девица, словно решив поймать Отелкова на этой дикой мысли, оглянулась. Иван Алексеевич неожиданно смутился, покраснел, опустил голову.

Отелков глянул на часы: было уже около двух. Он закрыл окно, сбросил халат и пошел мыться.

Внешности Иван Алексеевич придавал значение не меньшее, чем женщина, и дорожил своей наружностью, как певец голосом. Он был достаточно умен и отлично понимал, что при его игре это единственный козырь. А на студии внешность Ивана Алексеевича расценивали еще выше и решительно утверждали, что у Отелкова фактура содержательней натуры.

От артиста Отелкова, как холодом, веяло неимоверной серьезностью. Все в нем было внушительно, солидно и прочно. Высокого роста, правильного телосложения, Иван Алексеевич был на зависть сильный и здоровый мужчина. На великолепной, словно точеной, шее уверенно сидела тяжелая голова. Темные волосы с оловянной прядью посредине придавали лицу выражение умное и благородное. Глаза с мутной синевой и огромными чистыми белками, казалось, не умели ни возмущаться, ни восхищаться, серьезно смотрели, и только. Говорил Отелков лениво, мягким баритоном, который вытекал из его широкой груди медленно и вязко, как мед из бутылки. Особенно примечательны были руки Ивана Алексеевича: длинные, мягкие и гибкие, словно без костей.

Иван Алексеевич мылся долго, а потом долго и крепко растирал мохнатым полотенцем белую гладкую кожу. Брился Отелков ежедневно и очень тщательно. После бритья смазывал лицо кремом и втирал его в кожу до тех пор, пока она не становилась эластичной, без единой морщинки, словно отглаженная утюгом. После этого он чистил и подпиливал ногти. Рубахи Иван Алексеевич признавал только белые, с твердыми воротничками и манжетами.

Отелков распахнул дверцы шкафа. Там висели три отличных костюма: светло-серый, коричневый с белой, чуть заметной полоской и черный. Он на минуту задумался и решительно снял серый костюм.

Иван Алексеевич предпочитал все солидное и поэтому носил галстуки однотонные: или абсолютно черные, или абсолютно белые.

Отелков повязал черный галстук, посмотрелся в зеркало и остался недоволен своим видом. Ему показалось, что он излишне строг, Иван Алексеевич примерил белый галстук и опять себе не понравился. Тогда он отверг галстуки и стал примерять бабочки. С белой бабочкой Иван Алексеевич выглядел как надо: и солидно, и элегантно. Но тут Отелков вспомнил, что у него нет денег даже на трамвай и единственно, на что он может рассчитывать, так это на выручку от двух пустых бутылок.

«Зачем этот маскарад, для смеху, что ли?» – с досадой подумал Иван Алексеевич и наотрез отказался от галстуков. Он расстегнул верхнюю пуговку и посмотрел на себя в зеркало. Теперь он выглядел и просто, и молодежavo.

Сдавать пустые бутылки было так же унижительно для Отелкова, как ходить в баню с веником под мышкой. Иван Алексеевич уважал баню с березовым веником, париться любил жестоко и славился в Фуражках как второй парильщик после начальника почты Романа Золо-

тарева, который парился сухим веником в шапке с ушами и в брезентовых рукавицах. Хотя Отелков и сознавал, что шапка с рукавицами очень удобны для этого дела, но сам бы никогда их не надел. Не потому, что Иван Алексеевич был аристократ, а просто он выработал для себя строгое правило: не делай того, чего можно не делать, и не повторяй других в мелочах. А если Отелкову и случалось повторять, то он оправдывал себя тем, что это было вызвано крайней необходимостью.

Иван Алексеевич разыскал две бутылки из-под коньяка и задумался: «Как их нести по улице?» Карманы негодились: костюм слишком шикарен. Студенческий портфель слишком стар и потрепан. Нашлась коробка из-под туфель. Иван Алексеевич ухватился было за эту коробку, но, поразмыслив, отверг ее: «Подумают, понес на рынок ботинки». Ивану Алексеевичу почему-то казалось: весь город догадается, что у него за душой ни копейки, и все только и будут стараться уличить его в постыдном безденежье.

Ничего не оставалось другого, как завернуть бутылки в газету. Пакет получился аккуратный. Иван Алексеевич перевязал его шнурком, нацепил на палец и, сняв с гвоздя прозрачный плащ-дождевик, вышел из дому.

На крыльце Отелкова встретил Урод. Не спуская глаз с хозяина, он весь дрожал и мигал так, словно нанюхался луку.

– В дом не пущу, – резко сказал Отелков.

Урод заскулил, замотал головой и затряс ушами.

– Боишься, что украдут тебя? Зря боишься. Такая образина никому не нужна, – заверил Иван Алексеевич собаку и посмотрел на часы.

Урод обиженно залаял.

– Молчать! – прикрикнул на него Отелков. – На мыло захотел? Ладно, дай срок, спроважу тебя с большим удовольствием, – пригрозил Иван Алексеевич и серьезно подумал: «И в самом деле, зачем он мне?.. Была бы собака, а то черт знает что».

Иван Алексеевич явно пугал Урода... Даже если бы он и решил спровадить его на мыло, все равно не спровадил бы: во-первых, он привязался к собаке, во-вторых, ему на это не хватило бы времени, как не хватало времени обкосить дорожку от крыльца до калитки. Чтобы не испачкать костюм, Отелкову каждый раз приходилось пробираться по ней, как акробату по веревке.

Наконец Отелков вышел на улицу, посмотрел сначала вправо, потом влево, потом прямо перед собой и, не увидев никого, нагнулся, торопливо обмахнул носовым платком манжеты брюк и ботинки и зашагал к переезду под железной дорогой. Люди, встречая Отелкова, кланялись, хвалили сегодняшний день и, глядя, как он гордо несет откинутую назад голову и небрежно помахивает бумажным свертком, думали, что Иван Алексеевич идет с подарком на свадьбу. Может быть, они так и не думали, может быть, они вообще ничего не думали. Но Ивану Алексеевичу казалось, что именно так они думают, и он был доволен, что так ловко их провел.

Иван Алексеевич благополучно прошагал три остановки, благополучно сдал бутылки, благополучно сел в скоростной автобус и приехал на студию, которая находилась на другом конце города.

Урод, проводив Отелкова до калитки, долго и равнодушно смотрел ему в спину. А когда хозяин скрылся за поворотом, Урод, широко разинув пасть и закрыв глаза, так сладко зевнул, словно бы только что вкусно и до отвала пообедал. Бесцельно прогуливаясь вдоль забора, Урод набрел на курицу, которая, нахохлясь и растопыря крылья, сидела в пыльной ямке. Урод прогнал курицу и лег в ямку сам, перевернувшись на спину, малость покатался, а потом долго отряхивался и выкусывал блох. Закончив туалет, Урод еще раз зевнул, но уже не от удовольствия, а скорее от скуки, и, положив голову на лапы, задумался. Невеселые думы бродили в его крепколобой, вислоухой голове. И все они в конце концов сливались в одну

безысходно тоскливую: «Лучше бы и не появляться на этот свет». После глубокого и всестороннего анализа своего двухлетнего существования Урод пришел к выводу, что жизнь его представляет сплошную цепь невзгод и лишений.

Сначала все шло как надо. Щенком его любили, баловали, и ел он каждый день, как говорится, вкусную и здоровую пищу. Потом случилось несчастье. Виной всему были его глупая собачья молодость и еще белоухий котенок, который и вовсе был дурак.

Котенок первым начал драку, поцарапал щенку нос и, спасаясь бегством, выскочил со двора на улицу. Щенок бросился за ним и сразу же попал под колесо телеги, на которой какой-то застройщик перевозил кирпич. Невозможно представить себе боль, которую испытал в ту минуту несчастный щенок. Колесо раздробило ему таз и переломало задние ноги. Но еще больнее было от человеческого равнодушия. Правда, вначале все закричали «ай-я-яй!» и принялись нещадно поносить застройщика всевозможными крепкими словами. Накричавшись, брезгливо посмотрели на изуродованного щенка, сказали: «Погибла породистая собака», и кто-то посоветовал прикончить беднягу, чтоб не мучился. Но его сразу не прикончили и оставили мучиться весь день и ночь. А рано утром положили в корзинку, снесли в парк и бросили в затхлый, вонючий пруд. Однако щенку умирать совсем не хотелось. Он кое-как выкарабкался из пруда, забился под куст и пролежал там трое суток, не вылезая.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.